

ПОГОВОРИМ О СЕБЕ К ВОПРОСУ О ПРОЯВЛЕНИИ В РЕЧИ НАРЦИССИЧЕСКИХ ВИДОВ ПЕРЕНОСА

А.В.КАЗАНСКАЯ

ЧЕЛОВЕК... КАК ЭТО ЗВУЧИТ?

Мама, видишь вон того дядю? Утром у тебя на работе я видел точно такого же.

Из разговора

Сказать так мог только ребенок. Взрослый хорошо знает, что человек уникален и неповторим, даже о близнецах нельзя сказать «точно такие же» – они просто очень похожи. Ребенок овладевает понятием человеческой идентичности постепенно. При мне учительница спросила первоклассницу, думает ли она, что существует на свете еще одна такая же девочка – с той же внешностью, с тем же именем и т.д. Девочка задумалась и ответила: «Не знаю, может быть, где-нибудь в Америке и есть».

Когда мы говорим о себе и о себе подобных – людях и других одушевленных существах, скажем, домашних животных, которых мы мысленно наделяем понятными нам чувствами или чертами – мы говорим особым образом. Мы используем специальный словарь терминов, не подходящих для описания неживых объектов, мы пользуемся не только особой лексикой, но и особой грамматикой. Дети овладевают таким взрослым языком не сразу.

– Я вижу трактора! – кричит четырехлетний мальчик. Он неправильно употребляет винительный падеж (вопросы – кого? что?), тем самым как бы наделяя трактор живой душой. Таких примеров масса, в свое время так говорит каждый ребенок. Дети не только одушевляют неживые предметы,

они проделывают и обратные операции, предполагая иногда, что живые существа устроены по принципу неживых, например, что лошадь встала, потому что у нее кончился бензин (К.Чуковский. «От двух до пяти»). Дети еще не проводят четкого различия между живой и неживой природой, а также между миром живым вообще и миром человеческим, причем это отражается не только на содержании их рассуждений, но и на стиле и грамматике их речи.

Маленькая дочка Пиаже Жаклин (2 года 6 месяцев) (цит. по *Fast*, 1985) на прогулке всегда употребляла слово «червяк» с определенным артиклем. «Вот он!» – восклицает девочка. – «Вот опять червяк!» – говорит она, пройдя десять метров. Пиаже пытается выяснить, думает ли она, что это тот же самый червяк, и обнаруживает, что для Жаклин этот вопрос не имеет смысла. Пиаже комментирует: «Эти две характеристики – отсутствие индивидуальной идентичности и общего понятия класса – в сущности одно и то же». Из этого примера видно, во-первых, что в мышлении девочки еще не существует предшественников понятия индивидуальность и, во-вторых, что во французском языке эта возрастная особенность видна и грамматически, благодаря употреблению артиклей. Русскоязычный родитель не мог бы в подобной ситуации обратить на это внимание. И наоборот – вышеприведенный пример с трактором из-за наличия падежных окончаний «работает» только по-русски.

Таким образом, в разных языках существуют разные, но по функции однородные лексические и грамматические средства для описания различного рода объектов внешнего мира и представлений человека о них. Ребенок осваивает эти языковые средства постепенно. Вначале он начинает отличать живые объекты от неживых и, соответственно, представлять себе их свойства. Вслед за этим он осваивает лексические и синтаксические способы описания разных объектов и их взаимодействий. И наконец, человек в большей или меньшей степени овладевает богатством стилистических нюансов для все более точной передачи своих мыслей и чувств по поводу этих объектов.

Занимаясь психолингвистическим изучением речи свободно ассоциирующих в процессе психоаналитической терапии взрослых пациентов, я хорошо знаю, что «классические» оговорки по Фрейду – явление гораздо более редкое, чем различного рода лексико-синтаксические ошибки и стилистические погрешности. Следует сразу отметить, что речь идет о погрешностях, сделанных ненамеренно, а не о тех случаях, когда человек использует оговорку в виде каламбура или «неподходящий» стиль для выражения, например, иронии, когда он овладевает своей или чужой ошибкой. Однако сама возможность такого произвольного употребления оговорки указывает на то, что в ней имеется психологический смысл.

Понятно, что если взрослый человек действительно не различает живое и неживое или не понимает самого принципа метафорических сравнений

объектов разного рода – это психотическое состояние. Выздоровливающий пациент-шизофреник (*Searles, 1962, с.565*) отвечает на попытку врача сравнить себя с тяжелым креслом, которое трудно сдвинуть с места, так: «Я знаю, что Вы не стул, доктор Серлз». Тот же пациент говорит особым тоном, не оставляющим сомнений в том, что его надо понимать буквально, о пустой лодочке на картине: «Ей одиноко». Сравнивая себя с папиросной бумагой, начинает бояться, что его унесет ветер. «У него были причины бояться потерять свою идентичность как человеческого существа, – пишет Серлз, – потому что она в самом деле была непрочной» (*там же, с.563*). Назовем это нарушением первичной идентификации – идентификации с миром людей.

Если у человека психотического расстройства нет, он, конечно, твердо знает, что он человек и никогда не перепутает себя с другим человеком или, тем более, с неодушевленным предметом, но на личностном уровне его идентичность все же может быть непрочной, незрелой. Это нарциссическое расстройство.

В самом грамматическом и стилистическом построении высказывания иногда как будто не учитываются основные и неотъемлемые качества, которые при любых условиях присущи человеческому существу: его уникальность и неповторимость, его активность в одних обстоятельствах и пассивность в других, независимость его интенций от интенций других людей и одновременная ограниченность результатов его действий условиями реальности.

Приведем несколько примеров:

– ***Со мной стали происходить сексуальные отношения.***

Пациент, сказавший эту фразу, очевидно, «закрывает глаза» на собственную активность и поэтому неверно передает причинно-следственные отношения. Человек либо вступает в сексуальные отношения, либо его заставляют в них вступить. Это сравнимо с вопросом пятилетнего ребенка:

– Где это ты так исколючился, папа? – спросил он, целуя меня в передней. Я сказал, что в университете. (Рассказанный автору реальный случай.)

Гипотеза ребенка о происхождении колючек на папиных щеках неверна – причина колючек не внешняя, а внутренняя. Отец в шутку подтверждает эту гипотезу, как если бы сын спросил: «Папа, где это ты так исцарапался?»

А вот примеры того, как дети, а порой и взрослые пациенты не ощущают, как выражается в языке уникальность человеческого существа. Девочка четырех лет спрашивает:

– А милиционеры всегда двойные? Скучно стоять по одному.

По-взрослому следовало сказать «двоем». Однако как своего рода художественный прием слово «двойные» замечательно тем, что нивелирует личность отдельного милиционера. Действительно, они в

одинаковой униформе подобны неодушевленным предметам, например, игрушкам, лишь количественно повторяя друг друга. Это образец того детского словотворчества, которое полно неожиданного смысла и так восхищает взрослых.

При описании людей в языке всегда существуют ограничения на применение множественного числа (конкретный человек всегда является самим собой – одной персоной), а также (в русском языке) несовершенного вида глаголов (некоторые вещи можно делать только один раз). Вот примеры нарушения пациентами этого «психологического» правила грамматики:

– ***В школе я часто бывал капитанами команды.***

– ***Я всегда хотела научиться легко умирать.***

Можно несколько раз быть капитаном одной команды или разных команд, можно быть матерью разным детям, но один человек не может быть разными капитанами или матерями. Подобным же образом, умереть один человек может только один раз. Для того чтобы стать более осмысленной, такая фраза требует несовершенного вида глагола, однако и при этом она остается очень странной, какой-то «нечеловеческой» по содержанию. В отличие от сексуальных отношений, которые якобы «стали происходить», естественная смерть именно происходит независимо от человеческой воли.

В других психолингвистических и клинических исследованиях получены аналогичные, хотя и зависящие от конкретного языка данные. Так, в работе Ангелики Вентцель обсуждаются языковые средства, посредством которых пациенты с пограничным синдромом описывают самих себя, как если бы это были внешние объекты, и собственные чувства и мысли, как нечто происходящее с ними, а не создаваемое ими (Wentzel, 1986; Казанская, 1996). Фонаги (Fonagy, 1991, 1996) полагает, что у таких пациентов недостаточно развита способность описывать свои и, соответственно, чужие состояния психики. У них не сформирована ментальная репрезентация человеческих чувств и мыслей (репрезентация второго порядка), не владеют они и соответствующими языковыми средствами для синтаксически правильного построения высказываний типа: «Я думаю, что ему нравится...» или «Ему кажется, что статья слишком длинная». В связи с этим, считает Фонаги, у пациентов с тяжелой нарциссической патологией не развиваются зрелые защитные механизмы, функционирующие на основе вытеснения. Вытесняться может только целая, структурированная мысль, которая потом и возникает иногда в виде оговорки «по Фрейду». У пациентов с пограничным синдромом действуют более примитивные защитные механизмы, в основе которых лежит расщепление. Действие этих механизмов, на мой взгляд, и проявляется в тех странных, неструктурированных фразах наших пациентов, в «идиосинкретическом», т.е. особом, индивидуальном употреблении или несформированности понятий, смысл которых –

интенцию говорящего – мы восстанавливаем или пытаемся восстановить на основе контекста. Например, пациент рассказывает о своей матери:

– *У нее абсолютно непредсказуемые реакции. Вчера она по секрету пришла, как будто меня нет дома. (...) Моя мать непредсказуема. Она всегда приходит секретно.*

Хочет ли он сказать, что мать не предупреждает о своих приходах, держит свои намерения в тайне от сына и приходит неожиданно, внезапно? Или мать хотела, чтобы сам ее приход остался сыну неизвестным? Что должно остаться в «секрете» и что именно в отношении матери непредсказуемо? Из контекста этого высказывания я делаю предположение, что пациент не совсем правильно употребляет слово «непредсказуема». Он имеет в виду не то, что поведение матери ему трудно предвидеть, а то, что мать не хочет делиться с ним своими планами, не «предсказывает» их. Таким образом, вместо характеристики своего состояния, т.е. репрезентации второго порядка (мне это явление кажется непредсказуемым), у пациента получается описание действий матери.

Подобную, только более «грубую» с точки зрения лексики ошибку совершает другая пациентка:

– *Последствия моей несказанности себя проявили.*

Несказанность означает таинственность, невыразимость. Пациентка же имеет в виду просто-напросто, что ее скрытность возымела последствия.

Вот еще пример неправильного употребления понятия, следующего принципу «народная этимология», который часто применяют дети (Чуковский) и который в устах взрослого удивляет:

– *На мне было столько всего надето... То есть, не надето, а надежд.*

Поразительно, что взрослый образованный человек может ощущать слова «надето» и «надежда» как однокоренные.

В течение нескольких лет я занимаюсь изучением речевых погрешностей при свободных ассоциациях пациентов, и сейчас у меня зафиксировано около трехсот примеров. В них, на мой взгляд, можно выделить три уровня языковых ошибок.

1) Неясность относительно субъектов и объектов, действий и реакций, причин и следствий. Эта неясность проистекает от неправильного употребления существующих понятий или изобретения неологизмов и синтаксически неправильного построения фраз. Такого рода ошибки отражают проблемы, связанные с первичными идентификациями, и диагностически могут служить указанием на личностные расстройства.

Примеры:

– *Последствия моей несказанности себя проявили.* (Вместо: Моя скрытность возымела последствия.)

– *Наказание заключалось не в том, что я не попросил.* (Вместо: Я был наказан не за то, что я не попросил.)

– *Я стану не такой, которой я была, с которой я привычна.* (Вместо:

Я стану не такой, какой я была, какой я привыкла быть.)

2) Грамматические и стилистические погрешности при описании неживых, живых объектов и людей, в том числе себя. Эти погрешности отражают незрелую (нестойкую) человеческую идентичность и свидетельствуют об актуальной нарциссической проблематике у пациента.

Примеры:

– *В школе я часто бывал капитанами команды.*

– *Со мной стали происходить сексуальные отношения.*

3) Собственно оговорки по Фрейд – лексико-фонетические замены, выражающие скрытые смыслы. Кроме того, сюда же мы относим смысловую путаницу субъектов, действия или чувства которых описываются. При этом морфологическое строение слова или синтаксическая структура фразы остаются правильными по форме. Множественное число (как во втором примере) отражает не нестабильность идентичности, а противоречивые идентификации с разными людьми. Такие оговорки выявляют содержание невротических конфликтов, выдают как бы чересчур буквальные невротические идентификации.

Примеры.

– *Мое отношение к этой квартире...*

– *Я хотела бы быть такими же, как они, но это невозможно.*

Если в оговорках третьего уровня имеет смысл искать следы невротических конфликтов, то два первых уровня, по моему мнению, отражают нарциссические проблемы и нарциссические расстройства разной глубины – от пограничного синдрома до эпизодически проявляющейся нарциссической проблематики у пациентов со зрелой, в целом, психической структурой. Поэтому я попытаюсь кратко очертить концепцию нарциссического переноса (модель Кохута) в ее отличии от классической фрейдовой модели невротического переноса.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О НАРЦИССИЗМЕ

Это суцая чепуха, чтобы человек, достигший такого возраста, когда может быть охвачен любовью, не мог бы разобратъ, где человек, а где человеческая тень.

Павсаний. Описание Эллады

Слово «большой» иногда употребляется синонимично слову «взрослый». Мне кажется, что сейчас в этом смысле чаще употребляется слово «взрослый». «Большой» вызывает смутное ощущение прошлого века. Например, Вера «...была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая» (Л.Н.Толстой, «Война и мир», т.1, часть первая, IX). Как следует из текста, Вере Ростовой к моменту начала романа было семнадцать лет, т.е. она, конечно, выглядела выросшей, большой, однако была не вполне еще взрослой, а только держала себя, как взрослая.

Если же понимать слово «большой» буквально, то получится, что разница между ребенком и взрослым лишь в размерах. Средневековая живопись изображала детей просто как взрослых меньшего размера. Западноевропейское Возрождение воспроизвело наблюдение античности о том, что ребенок внешне – это не маленький взрослый, а особый человек, обладающий другими пропорциями.

Психология и педагогика концептуализировали это зрительно более очевидное, а внутренне не столь явное отличие гораздо позже. Как известно, долгое время процесс развития ребенка понимался как рост – постепенное приобретение чего-то недостающего телу и душе для взрослости – сил, знаний, умений и т.д. Учитывая это, можно предположить, что в семантическом пространстве языка девятнадцатого века два обсуждаемые нами слова стояли несколько ближе, чем сейчас. Если человек большой, то он, по-видимому, взрослый – точно так же считает и Павсаний, полагающий, что в определенном возрасте человек не может не вести себя, как взрослый. В психоанализе понятия «большой» и «взрослый» окончательно отделил друг от друга Хайнц Кохут (*H.Kohut, 1973; M.Tolpin, H.Kohut, 1992; H.Kohut, 1992*), создавший новый «портрет» пациента с нарциссическим расстройством. Он изобразил выросшего ребенка, большого, сильного, умного, образованного – совсем, как взрослый, – однако психологически как бы сохраняющего некоторые детские пропорции.

Если бы Павсаний смог взглянуть на Нарцисса как на большого ребенка, он, может быть, не счел бы историю о нем чепухой, а поведение Нарцисса – ошибкой восприятия, в которую трудно поверить.

Подобно тому, как Нарцисс путает себя с внешним объектом, нарциссическая личность разными способами вносит такую же субъект-объектную путаницу в свое восприятие, действия, речевую продукцию и так далее. Если говорить о речевой продукции, то, как мы видели, эта путаница может распространяться на все ее уровни: семантику, лексику, морфологию, синтаксис, исключая, может быть, только фонетику.

«Примите ж исповедь мою», – говорит Онегин Татьяне. «...и вашу проповедь», – вспоминает этот эпизод Татьяна. Такая неопределенность, смешение жанров (исповедь говорящего или проповедь слушающему?) – точно подмеченная особенность поведения нарциссической личности. Исповедь, помимо искренности субъекта, предполагает также и открытость любому возможному ответу – позитивному или негативному. Проповедь – наоборот – это целенаправленное воздействие на объект. Вспоминается моя клиническая беседа с юным актером, попавшим в больницу по поводу алкоголизма. Казалось, что он дает мне интервью для журнала. Этот так не соответствовавший больничной обстановке внешний фасад так же непрочен, как и красивые фразы Онегина, в конце романа обернувшиеся своей противоположностью.

Нарцисс, большой ребенок, как никто, одинок, но при этом ему опасно

оставаться одному. Он так требователен к другим, заставляя их отказываться от самих себя и превращаться в зеркала для него, потому что иначе ему трудно психологически выжить. Не умея замечать других, он вынужден тиражировать самого себя, превращая объекты, как маленький ребенок, в Я-объекты. Вместо других лиц он видит себя, место объекта занимает субъект, субъекта – объект. Исповедь превращается в проповедь, клиническое интервью – в рекламное. Или, наоборот, альтруистическая проповедь становится эгоистической исповедью, а рекламное интервью, имеющее целью воздействовать на объект – неуместным самообнажением субъекта (Зайдлер, 1997). Если такая взаимозаменяемость субъекта и объекта используется ради высшей цели, например, художник пишет автопортрет, превратив себя в объект своего творчества, то в идеальном случае предметом его любви становится уже не он сам, а создаваемый им объект, т.е., как говорил Станиславский, они уже любят искусство, а не себя в искусстве. Кажется, один из известных портретов кисти Кохута – это автопортрет.

Нарцисс – это оборотень. Страшный оборотень: трогательный ребенок, временами впадающий в разрушительную ярость. Жалкий оборотень; повелитель, теряющий свои владения. Две части подсоединены всегда последовательно и никогда не наблюдаемы одновременно – это так называемое вертикальное расщепление по Кохуту. Вот как поясняет это сам Кохут на примере Гамлета.

Отвечая на вечный вопрос, сошел ли Гамлет действительно с ума или только притворялся сумасшедшим, Кохут принимает обе эти версии для расщепленного Я Гамлета. Он пишет, что «Я Гамлета было переполнено громадностью задачи внутреннего приспособления и изменения» (Kohut, 1992). Душевная травма Гамлета – убийство его отца дядей и соучастие в этом его матери – внешне сводится к эдиповой проблематике. «Однако эдиповы конфликты сами по себе не могут объяснить степени и природы травматического состояния Гамлета. В душе его «неладно», потому что ему приходится встать лицом к лицу с тем фактом, что весь мир, которому он доверял, «неладен»... Психологически правда признается одной частью личности Гамлета, но остается изолированной от другой ее части (вертикальное расщепление Я)» (там же).

Вытеснение Кохут называет горизонтальным расщеплением. В этом случае в сознании присутствует лишь одна, почему-либо более приемлемая, версия (например – я в своем уме, с ума сошли они), другая же версия не осознается, лишь иногда выскакивая на свет как оговорка или ошибочное действие, как нечто чужое и случайное.

Опираясь на лингвистическое исследование Вентцель, можно квалифицировать такие высказывания наших пациентов, которые несут в себе субъект-объектную путаницу и отнесены мною к первому уровню ошибок, как сосуществование двух версий происходящего, т.е. вертикальное расщепление по Кохуту.

– *Ее подарки. Они делают меня странные.* Правильно было бы сказать: «Ее подарки (платья) странные. Они делают и меня странной». Если «перевести это на язык Шекспира», получим: «Мир неладен. От этого в душе Гамлета неладно». Однако моя пациентка, делая эту удивительную ошибку, высказывает одновременно две версии. Она отчасти признает, а отчасти упорно не хочет признать, что в этих странных, нелепых нарядах, которые ей дарит мать, она и сама становится странной. Число и падеж последнего слова выдают ее проекцию странности, «неладности» на мир.

Что же касается симптоматики болезни Гамлета или болезни Онегина, которая подобно «английскому сплину, / Короче: русская хандра, им овладела понемногу», то по симптомам они похожи на «пустую» депрессию при нарциссических расстройствах. Кохут противопоставляет ее невротической «депрессии вины», источником которой оказывается структурный конфликт. Нарциссическая депрессия клинически выражена особым чувством пустоты, истощения, безнадежности, безжизненности. Она кажется беспричинной – «просто» хандра. Но отсутствует и причина не хандрить – быть живым и деятельным. Кохут находит метафору «отключенность от сети» – нет энергии, которая заставляла бы механизм функционировать. Утрачивается чувство цельности и цели, исчезают желания, возникает страх дезинтеграции и девитализации, переходящий временами в бессильную ярость.

Реальность, жизненную (безжизненную? убийственную?) правду именно такой динамики проявления характера, который мы называем нарциссическим, подтверждает в своей статье о «Гамлете» Пастернак: «В сцене, где Гамлет отсылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью послебайроновского себялюбивого отщепенца... посмотрим, что вводит эту бессердечную сцену? Ей предшествует знаменитое «Быть или не быть»... Неудивительно, что монолог предпослан жестокости начинающейся развязки. Он ей предшествует, как отпевание погребению» (Б.Пастернак. «Об искусстве», с.179). Всепоглощающие сомнения, гнетущая безнадежность переходят в нарциссическую ярость.

Отметим попутно, что и Пастернак имплицитным сравнением отсылает нас к Онегину или героям Лермонтова, говоря о «послебайроновском» себялюбце. Для нас же множественность этих интернациональных и межвременных переключек еще раз свидетельствует о точности и неслучайности кохутовских образов и концептов.

Еще одна метафора Кохута – психологический «кислород и кальций», которым родители могут вдоволь снабдить ребенка, чтобы он дорос до зрелой интеграции личности, если будут обеспечивать две его базовые потребности. Одна из них – «укрепление и подтверждение Я-объектами (self-objects) восторга при гордой демонстрации ребенком его тела и соответствующих возрасту достижений» (Tolpin, Kohut, 1989). Вторая –

«готовность Я-объекта служить образом спокойной силы и безграничного могущества, с которым ребенок может слиться, когда его равновесие нарушается» (*там же*, с.42). Удовлетворение этих потребностей при оптимальном уровне их фрустрации – вот идеальные условия для развития Я ребенка.

Отсюда вытекают терапевтические принципы, которые предлагает Кохут. Один из его основных аргументов в пользу я-психологии – это новый терапевтический подход, радикально отличающийся от стандартной психоаналитической техники, основной прием которой – интерпретация психических конфликтов при нейтральности, абстиненции аналитика. Пациентам с незрелой структурой Я такая техника не приносит пользы, создавая лишь угрозу психической дезинтеграции, поэтому психоанализ долгое время считался для них непригодным, или, скорее, они считались непригодными для психоанализа. Кохут предлагает исполнение аналитиком роли эмпатичного всемогущего родительского объекта в переносе как терапевтическую стратегию для этих пациентов с «обратимыми расстройствами Я», которые «способны к объектной любви». Не все психоаналитики разделяют терапевтический подход Кохута, считая его односторонним. Лео Стоун (*Stone*, 1961) полагает, что одна лишь эмпатия без интерпретации не может вызвать желаемых терапевтических изменений, Кернберг (*Kernberg*, 1989) разрабатывает другой – щадящий – тип интерпретации переноса с опорой на наличествующую, хотя бы и поверхностную степень зрелости личностных структур. Это интерпретация переноса в психоаналитическую ситуацию текущих взаимоотношений пациента без углубления в травматическую для этих пациентов область раннего детства. Такие интерпретации «работают» даже при очень тяжелой нарциссической патологии, так называемом пограничном синдроме.

В силу вышесказанного я думаю, что обращать внимание пациентов на их грамматические ошибки и интерпретировать их нужно очень осторожно, обращаясь лишь к текущим взаимоотношениям и межличностным конфликтам, как это предлагает Кернберг. Не только потому, что подчеркивание ошибок может быть воспринято пациентами как унижение и оказаться угрозой терапевтическому альянсу, но и потому, что нарциссическая боль не позволит им осмыслить интерпретации ранних травм как психических конфликтов и обратить эти интерпретации себе на пользу.

Поэтому особое значение приобретает понимание трансферентных отношений здесь и теперь.

Что же происходит в переносе? Как возникает ошибка?

Любые психические проявления в терапии и вне ее, не свободные от аффективного влияния прошлого опыта, можно, в принципе, рассматривать как манифестации переноса (*Томэ, Кэхеле*, 1996). Концепция переноса в узком смысле как искажения реальности, в

формулировке Сандлера, представляется мне полностью применимой к речевым погрешностям: «Эти искажения – результат модификации актуальных восприятий и мыслей пациента благодаря добавлению к ним специфических компонентов, происходящих из прошлого опыта, из желаний, переживаний и отношений прошлого» (*Sandler et al.*, 1992, с.17).

Логично предположить, что разного рода ошибки будут соответствовать разным видам переноса. Обратимся к прообразам разных моделей переноса. Посмотрим, как понимает поведение Нарцисса Павсаний. Не веря в то, что физиологически взрослый человек («достигший такого возраста, когда может быть охвачен любовью») может перепутать внешний живой объект с самим собой, Павсаний тут же вспоминает другое, более правдоподобное с его точки зрения, предание о том, что Нарцисс любовался своим отражением, тоскуя по умершей сестре, в которую был влюблен.

То есть Павсаний интерпретирует странную влюбленность Нарцисса как инцестуозное влечение. Это укладывается в рамки классической теории Фрейда, так называемой эдиповой модели. Образы Эдипа и Нарцисса наглядно демонстрируют нам различие двух моделей переноса – невротического и нарциссического. А толкование Павсания как раз и может послужить примером бесполезной, согласно Кохуту, для пациента с нарциссическим расстройством интерпретации.

Вспомним, что для Кохута способность к объектной любви (и соответственно, к невротическим видам переноса) является одним из подтверждений «ценности индивида для общества» и одновременно одним из благоприятных прогностических признаков излечимости нарциссического расстройства. По мере того, как психическая структура укрепляется, вместо нарциссических проблем на первый план выходят невротические, которые более зрелая теперь личность пациента имеет возможность разрешить в процессе анализа или терапии.

Кохут выделял два основных вида нарциссического переноса: активацию грандиозного Я (зеркальный) и активацию всемогущего объекта (идеализирующий). При зеркальном переносе он отмечает «выраженную в разной степени тенденцию к примитивизации мышления и речи (от некоторой напыщенности до злоупотребления неологизмами)» (*Kohut*, 1992, p.67). Таким образом, Кохут, по-видимому, наблюдал у своих пациентов то же самое явление, детальным психолингвистическим изучением которого мы занимаемся.

Если следовать логике Кохута, активация грандиозного Я заставляет пациента прокладывать новые пути, не обращая внимания на реальность сложившихся норм языка, подобно тому, как некогда царь Александр II якобы соединил по линейке Петербург и Москву прямой линией, и по ней построили железную дорогу, не сообразуясь с природными препятствиями.

Такое предположение подтверждают, например, клинические

наблюдения Катрины де Хирш (*K. de Hirsch*, 1975, p.111): «Если слушать, как разговаривает сам с собой ребенок, играющий в поезд, вначале заметно, что его вербализация служит освоению игрушки. Когда игра меняется, и поезд становится выражением силы и власти, синтаксис нарушается, изобретаются новые слова, значения слов приобретают особый, индивидуальный характер, интонации скачут. Другими словами, когда ребенок переходит с одного уровня организации на другой и обратно, формальные характеристики речи отражают эти переходы».

Де Хирш полагает, что ребенок становится творцом новых слов, когда находится в специфических состояниях «силы и власти», которые мы можем, используя терминологию Кохута, обозначить как активацию грандиозного Я. В этих состояниях ребенок еще раз сам создает то, что уже было создано до него. Такое творчество-пересозидание может стать разрушительным для созданного ранее, и иногда «сила и власть» заставляют ребенка ломать созданные им конструкции, в гневе замазывать нарисованное, превращаясь в из нарцисса-творца в нарцисса-разрушителя – в большинстве случаев необходимый для развития ребенка и скорее конструктивный, чем деструктивный прообраз той нарцисси-ческой ярости, которую описывает Кохут при патологии (*Kohut*, 1973). Ребенок хочет сделать все по-своему, ощущая, что все уже существующее ему чуждо и непонятно, воспринимая все внешнее как фрустрирующее. Чуковский (1955) замечает, что дети иногда употребляют неологизмы неосознанно, а иногда намеренно, критикуя речь взрослых и отстаивая свои варианты, т.е. создание ими неологизмов может приобретать в той или иной степени агрессивный характер.

В свете психоаналитических клинических данных и их теоретического осмысления новое прочтение получают некоторые исследования психологии детской речи. Так, по мнению Т.Н.Ушаковой (1989), которая изучает детское словотворчество как явление психологии речи, не занимаясь изменениями состояний говорящего, ребенок подчиняет создаваемый им неологизм задуманной синтаксической структуре фразы. Эта синтаксическая структура отражает некий имеющийся у него и удобный ему стереотип. Ребенок, таким образом, строит фразу, подгоняя под нее слова и не обращая внимания на те внешние условия и ограничения, которые ставит ему речевая традиция. Эту речевую традицию он еще не освоил и, если следовать кохутовской модели, то находясь в состояниях – прообразах зеркального переноса, он сопротивляется изучению этой традиции. Учится же ребенок – всему, не только тому, как правильно, по-взрослому говорить – в состояниях идеализации родительского объекта.

Подобным образом, наши взрослые пациенты репродуцируют в переносе эти особые состояния, стилистически и грамматически оформляя свою речь соответствующим образом.

ТЕКУЩАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

*Ты течешь, как река –
странное название –
Мостовые твои, как в
реке вода,
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты мое призвание,
Ты и радость моя, и моя
беда...*

Б. Окуджава

Итак, тот особый язык, который соответствует представлению человека о собственной идентичности и принадлежности к человеческому роду, удовлетворяет определенным условиям.

Во-первых, он имеет специальные средства для выражения сопровождающего зрелую личность переживания уникальности, неповторимости самого человеческого существования. Это накладывает ограничения на употребление грамматического множественного числа при описании человеком самого себя («я была хорошими матерями своим детям») и своих действий, чувств, мыслей («у меня строгие отношения к алкоголю и курению»). В русском языке возникают также ограничения на употребление глаголов несовершенного вида («научиться легко умирать»), которые изначально подразумевают неоднократность или бесконечную протяженность описываемого действия или процесса. В других языках с этим связаны специальные требования к употреблению определенных и неопределенных артиклей. Специальному синтаксису при описании человека соответствует, конечно, и специальная лексика, создающая необходимые стилистические оттенки. Употребление неподходящих слов и словосочетаний, построение синтаксически ошибочных связей управления и примыкания с помощью неправильных предлогов, падежей и т.п. звучит нелепо:

- *Я стала проживать эротическое парное взаимодействие.*
- *Я совершенно оскорбилась на такой способ ненадежности.*
- *Идет ощущение, что я неподвластен сам себе.*

Некоторые слова и выражения употребляются только по отношению к людям (он скрытный), а некоторые, наоборот, не употребляются по отношению к ним (то, что мы здесь делаем, меня очень усиливает – вместо: придает мне сил).

Во-вторых, синтаксис, лексика и стилистика должны отражать активность человеческого существа, ее ограничение внешними условиями и подверженность человека действию внешнего мира. Это требует специфического представления причинно-следственных связей средствами языка, четкого синтаксического разграничения субъектов действия и объектов, на которые действия направлены, использования адекватных речевых оборотов, в частности, подходящих глаголов в

правильной грамматической форме. Вот примеры неверной передачи каузальности:

- *Я попросила себя, чтобы во сне мне было показано...*
- *Поскольку я не собираюсь это открывать, то соглашаюсь* (вместо: решаю) *оставить Ваш вопрос без ответа.*
- *Им не понравился разгул, и, не понравившись разгул, они сделали замечание.*
- *Наказание заключалось не в том, что я не попросил.* (Вместо: я был наказан не за то, что я не попросил...)

Некоторые глаголы существуют только в непереходной форме, употребление их в переходной форме лишает высказывание реального смысла (сейчас я его на нее упаду – вместо: уроню) или изменяет смысл (мы с ним вместе выживали, я его выживала – вместо: помогала ему выжить).

Идентичность, по выражению Серлза (*Searles, 1962*), должна быть прочной. Психически здоровая зрелая личность осознает себя всегда и везде не просто человеческим существом, но самой собою – то есть уникальным созданием с присущими ему неотъемлемыми качествами. Она должна уметь высказать, сформулировать себя, свой внутренний мир – такой смысл вкладывает Фонаги (*Fonagy, 1995*) в понятие репрезентации второго порядка.

Парадоксальным образом, самая прочная идентичность у предметов неживой природы. Что может быть неизменнее в веках, чем идентичность камня? Поэтому человек и стремится увековечить себя в виде монумента. Идентичность личности – нечто совершенно иное. Она соответствует тому, что человек жив и жив не навсегда. Идентичность должна быть одновременно и устойчивой, и гибкой, она должна поддаваться сравнениям, но не растворяться в них. Метафоры не должны приобретать конкретного смысла, как это случилось с пациентом Серлза. На более высоком уровне развития уже не произойдет психологического отождествления с неодушевленным предметом, однако может возникнуть опасность идентификации с другим человеком вплоть до потери личностной идентичности. Человек внутренне независимый не боится сближаться с людьми, так как всегда остается самим собой. Нерешенные сепарационные проблемы заставляют людей опасаться близости, потому что для них возникает угроза полного слияния с объектом.

Рой Шафер (*Schafer, 1976*) стремится освободить язык психоанализа от той не характерной для реальной живой личности монументальности, которую приобрело понятие Эго. Как хорошо известно, Фрейд пользовался обычным местоимением «я» (*ich*), и вообще язык его статей, живой и естественный, далек от злоупотребления специальной терминологией, от «овеществления» человеческих чувств или действий и одновременно от антропоморфизации научных понятий. Психоанализ, по мнению Шафера, должен вернуться к такому языку – «языку действия»,

принять «правило использования глаголов и наречий вместо существительных и прилагательных», которые как бы языковыми средствами фиксируют движение, заставляют живое каменеть. «Теоретический прогресс блокируется из-за такого овеществления», – считает Шафер (*там же*, с.114).

Уже делались попытки оживить язык психоаналитической метапсихологии, пишет Шафер и упоминает концепции «адаптивного эго» Хартманна, «идентичности» Эриксона и «я» Кохута. Подчеркивание Хартманном адаптивности, изменяемости как существенного качества эго, феноменологическая, экзистенциальная и интенциональная сущность идентичности по Эриксону, понятие self Кохута «смешивают два разных типа дискурса, представляя собой попытку ввести человека как действующее лицо в естественнонаучную модель» (*там же*, с.116).

Self – разговорное слово, непере译имое как таковое на русский, в разных случаях передаваемое по-разному: я, себя, сам и т.д. В некоторых неофрейдистских произведениях это слово приобрело артикль и оказалось как бы превращенным в существительное, причем среднего рода – «the self» обратилось в «it». «Тень естественнонаучных теорий пала на человеческое понимание», – пишет Шафер (*там же*, с.117).

Книга Шафера, написанная по-английски, может вызвать у иноязычного читателя вопросы. Так, Я (das Ich) у Фрейда тоже среднего рода. Кроме того, в английском языке более часто употребляются субстантивы, чем, например, у нас. В ситуации, когда англичанин скажет что-нибудь вроде: «Он большой потребитель пива», русский, скорее всего, выразит то же самое иначе: «Он пьет много пива». Вряд ли это может что-то напрямую значить для человеческой идентичности и психоанализа вообще. Может быть, дело не в частях речи как таковых, выражающих действие или нет, а в исторической традиции выражения человеческой идентичности, которая может быть своей в каждом языке.

Все эти соображения о естественности профессионального языка служат, по-моему, еще одним предостережением против неосторожных переводов психоаналитической терминологии и, в частности, аргументом против перевода self на русский язык как «самость». Самость – слово искусственное, чуждое современному разговорному лексикону. Нельзя не признать, что перевод слова self, как и некоторых других психоаналитических понятий, на русский язык встречает непреодолимые «природные» препятствия (*Казанская, 1996а; Казанская, 1997*), однако введение слова «самость» – это директивное навязывание искусственного термина, неприемлемое в психоанализе, который, как считает Шафер, призван практически и теоретически как можно более естественно описывать человеческое существо. Шафер предлагает психоаналитикам переводить интерпретации на «язык действия» – так наши интерпретации будут больше всего приближены реальной человеческой идентичности, которую мы хотим адекватно описать теоретически и к которой мы на

практике стремимся подвести своих пациентов.

Идентичность «течет», как река в русле, человеческая речь отражает в своих образах эту «текучесть» и придает ей «берега» в виде исторически сложившихся способов, приемов, средств удержания, сохранения, вмещения этого неостановимого движения. Следуя детской этимологической логике, надо было бы сказать: идентичность нельзя *увековечить*.

ЛИТЕРАТУРА

- Fast I. (1984). Gender Identity. A Differentiation Model Analytic Press, Hillsdale, New Jersey, London.*
- Fast I. (1985). Event Theory: A Piaget-Freud Integration, Laurence Erlbaum Ass., Publishers, Hillsdale, New Jersey, London.*
- Fonagy P. (1991). Thinking About Thinking: Some Clinical and Theoretical Considerations. Int. J. Psychoan. 72, 639.*
- Fonagy P. (1995). Psychoanalytic and empirical Approaches to Developmental Psychopathology: an Object Relations Perspectives. In: Research in Psychoanalysis: Process, development, Outcome, ed. T.Shapiro, R.M.Emde, Int. Univ. Press, Madison Connecticut.*
- Hirsch de K. (1975). Language Deficits in Children with Developmental Lags. In: Psychoanalytic Study of the Child, vol.30. Yalr. Univ. Press.*
- Kazanskaia (1997). Speech errors in Free association and Primitive Defense Mechanisms. Paper presented at the Spring Meeting of the Division of Psychoanalysis (39) of the American Psychological Association. Denver, Co., February 1997.*
- Kohut H. (1968). The Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders, The Psychoanalytic Study of the Child, 23: 86-113.*
- Kohut H. (1972). Thoughts on Narcissism and Narcissistic Rage. The Psychoanalytic Study of the Child, 27: 360-400.*
- Kohut H. (1971/1992). The Analysis of the Self. Int. Univ. Press. Madison Connecticut.*
- Kohut H. (1977). The Restoration of the Self. Int. Univ. Press, NY.*
- Kohut H. (1984). How Does Analysis Cure? Univ. of Chicago Press, Chicago and London.*
- Sandler J., Dare C., Holder A. (1992). The Patient and the Analyst, London, Karnac Books.*
- Schafer R. (1976). A New Language for Psychoanalysis. Yale Univ. Press, New Haven and London.*
- Searles (1962/65). The Differentiation between Concrete and Metaphorical Thinking in the Recovering Schizophrenic Patient. In: Collected Papers On Schizophrenia and related Subjects. Int. Univ. Press, NY.*
- Stone L. (1961). The Psychoanalytic Situation, NY Universities Press.*
- Stone L. (1967). The Psychoanalytic Situation and Transference: postscript to an earlier communication, J. of the American Psychoanalytic Association, 15: 3-58.*

Tolpin M., Kohut H. (1989) (1989). The Disorders of the Self: The Psychopathology of the First Years of Life. vol.2, Early Childhood. Ed. S.I.Queenspan and G.H.Pollock, Int. Univ. Press. Madison, Connecticut., Revised and expanded Version.

Wentzel A. (1986). Gibt es sprachliche Besonderheiten bei Borderline-Stoerunge? (Manuscript).